

Георгий Дерлугьян

СМОЖЕТ ЛИ НАУКА ОБЪЯСНИТЬ МУТАЦИИ НАШЕГО МИРА?

Вильяму Ивановичу МакНилу,
мегаисторику и первопредку

Нам выпало жить в период нескольких исторических переломов, происходящих одновременно на разных уровнях. Переломы подчас настолько грандиозны, что мы их либо не замечаем в своей повседневности, либо воспринимаем в отрыве от целостности, как слепцы из индийской притчи, ощупывающие слона, либо (и это, возможно, хуже всего), отделяемся модным, поверхностным и излишне усложненным дискурсом про «глобальные проблемы современности».

Я беру на себя обязательство говорить по возможности доступно и призываю к этому всех остальных участников обсуждения. Наша задача как профессионалов научного знания — установить вразумительное общение между собой и затем попытаться сделать добытое знание полезным. В случае общественных наук это предполагает популяризацию как осмысленную цель и мерило успеха нашего занятия. Здесь я попытаюсь обрисовать, в каком положении сегодня оказались общественные науки и наметить возможности для объяснения, простите за неизбежно громкие слова, наших смутных времен. Но прежде я попробую указать, где источники этой смутности.

Возьмем преднамеренно обыденный пример. Где-то на московском рынке русская женщина покупает сегодня заурядный пучок бананов для своего единственного ребенка. Женщина разведена, как многие из ее подруг, и имеет высшее образование. Она горожанка во втором или третьем поколении, работающая в каком-то государственном бюрократизированном учреждении или в частном бизнесе, так или иначе отпочковавшемся от той же государственной структуры. Все это, конечно, результаты коренной трансформации общества в период советской военно-промышленной индустриализации.

Бананы выросли на индустриальной плантации в Эквадоре, созданной американской транснациональной корпорацией, для чего вырубил немало гектаров тропического леса и регулярно вносят массу химикатов, смываемых

дождями в реки и далее в мировой океан. Фрукты привезли в Москву через перевалочную базу в Роттердаме на польском дальнобойном грузовике.

Продает бананы азербайджанский торговец. У него есть аж пятеро братьев, и все они более или менее нелегально находятся на заработках где-то в России. Учитывая известные нам обстоятельства, воплощенные в милицейском наряде у входа на рынок, азербайджанский микро-предприниматель, скорее всего, действует под прикрытием фиктивной жены из бывших ивановских ткачих. Милиционер, сам родом из пришедшего в упадок уральского промышленного поселка, все это видит насквозь и вдобавок знает, что никто на этом рынке не платит даже десятой части налогов, но не эти налоги и пошлины собирает милиционер. Его начальство предполагает такое поведение, благодаря чему благополучно ездит на престижных иномарках, многие из которых, наверное, числятся в угоне где-то в Германии.

Братья-азербайджанцы меж собой зовут милиционера шакалом, снисходительно презирают своих местных временно-фиктивных жен и при любой возможности обсчитывают покупающую у них бананы москвичку. Эти персонажи не принадлежат к их моральному сообществу, на которое распространяются традиционные нормы. Конечно, милиционер и москвичка платят инородцам тем же презрением, но более открыто, поскольку находятся на своей территории обитания. Тем временем торговцы все еще лелеют надежду поднакопить и когда-то вернуться на родину, чтобы сделаться главами настоящих традиционных семейств, обзавестись четками и ходить в мечеть с другими почтенными людьми или проводить время за чаем и нардами. Только где их очаг? Они родом из села, которое давно под контролем армии карабахских армян и, скорее всего, полностью разрушено. Да и в самом Азербайджане есть полиция со своими представлениями о пошлинах и социальной иерархии.

Думаю, этого вполне уже достаточно и для бытовой узнаваемости, и для выхода на большие теоретические вопросы. Итак, какие глобальные процессы мы наблюдаем в этой обыденно повторяемой микроситуации? Рыночную глобализацию, демографические тренды, экологическое давление на природу планеты, мировую миграцию, эрозию государственности, столкновение цивилизаций? Конечно, можно легко отделаться стандартным ответом из американских тестов—*all of the above*, все перечисленное выше. Но в какой системной взаимосвязи, в какой причинной последовательности анализировать эмпирическую картинку? Что из чего вытекает? И не упускаем ли мы чего-то главного?

Думаю, главное тут—не отдельная проблема, а метаусловие большинства мировых проблем. Это ломка деревенских структур жизнеобеспечения. Вымирание деревенских сообществ происходит в сочетании и во многом по причине исторически беспрецедентного демографического давления. Взрывание и обрушение традиционных способов организации жизни сопровождается недостаточностью государственных и рыночных структур перед наплывом нуждающейся в новом жизнеустройстве человеческой массы. Жители преимушественно северных стран мира, чьи предки два-три или четыре поколения назад пережили аналогичную ломку (но в совсем других условиях), сегод-

ня превращаются в стареющее и сокращающееся меньшинство. Однако это меньшинство унаследовало лучшую часть мира, где сегодня сосредоточены главные политические структуры, экономические и культурные капиталы.

Оставим нормативную полемику о справедливости или несправедливости такого положения дел. Она, скорее всего, попросту неразрешима, если ставить вопрос в виде взаимоисключающего выбора, который прямо соотносится с позиционными жизненными интересами людей, оказавшихся в разных социальных классах и регионах мира. Главное, подобная поляризация в нашем тесно взаимодействующем мире будет постоянно порождать конфликты и кризисы, пока не будет достигнуто какое-то более устойчивое и воспроизводимое состояние. Вероятно, потенциально устойчивых состояний несколько, но пока не ясно даже, как бы они могли выглядеть. В такой опасной и, по меньшей мере, неудобной неопределенности нам предстоит жить еще достаточно долго. Кризисы исторических систем могут продолжаться столетие и более. Но впервые системный кризис происходит на глазах у социальной науки, которая сама есть результат системной рационализации последних двух-трех столетий. Здесь, по моему мнению, находится основная задача всех разделов социального знания сегодня — от нормативно-утопического до сравнительно-аналитического и прикладного, управленческого. Попытаемся прояснить, какие сдвиги происходят в мире и затем, какие сдвиги происходят в нашем знании об этом мире.

Проницательный Эрик Хобсбаум в своей истории XX века отмечает важнейшую веху: «Для 80% человечества Средневековье внезапно окончилось в 1950-е гг.».¹ По всему миру быстро исчезает сельский уклад жизни, который с наработанным автоматизмом организовывал социальное и хозяйственное воспроизводство значительного большинства человечества. Так продолжалось в течение нескольких тысячелетий, минувших со времен Неолитической революции. Традиционный сельский уклад с его «средневековыми» (на самом деле куда старше) чертами предполагал довольно трудную и, как правило, краткую жизнь. С другой стороны, та жизнь нередко была расцвечена теплыми эмоциями, возникающими в привычной среде между родными или давно знакомыми людьми с глубоко усвоенными и предсказуемыми поведенческими ролями. Откуда и ностальгия по деревенской простоте.

Наши консервативно-ностальгические или, напротив, прогрессистские предпочтения имеют очень незначительное влияние на происходящее. Деревня сделалась демографически невозможной с появлением современной санитарии и макрогеографических структур (будь то государства или рынки), способных достаточно эффективно доставлять массу продовольствия в случае угрозы голодного вымирания. Деревня стала также и экономически невозможна с индустриализацией сельского хозяйства. На смену крестьянам пришли намного более производительные и оттого малочис-

1. Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991*. New York: Vintage, 1994. P. 288.

ленные фермеры. За истекшее столетие страны периферии утратили роль аграрного придатка, при этом мало кому удалось пока обрести новые устойчивые роли в мировой экономике. Аграрное производство из трудоемкого сделалось капиталоемким и потому сместилось в центры капиталистического накопления.

Где-то до 1970-х гг. процесс отмирания сельских сообществ приветствовался как прогрессивный модернизационный переход к современному типу общества. В тот оптимистический период это многим казалось верным и подтверждало исторический оптимизм. Настроения резко меняются после нефтяного шока 1973 г., за которым последовало замедление экономического роста и повсеместные кризисы государственных финансов. В сумме это вызвало резкое падение доверия к властям и снижение уверенности властей в самих себе. Отсюда многочисленные демократизации последующих лет и либерализации экономик, нередко провальные — политики разных стран, имитируя друг друга и воспринимая ставшие популярными в тот момент либеральные идеологемы, искали способы ослабить давление на себя и продемонстрировать, что они прилагают усилия для борьбы с кризисом. Из этого также вытекает рост коррупции и ослабление едва ли не большинства государств мира в последние два десятилетия. Вместо трудностей госуправления в условиях кризиса и элементарной опасности оказаться свергнутым многие правящие элиты избрали сверхкраткосрочную, пожарную стратегию «хватать и бежать» либо, оставаясь у власти, делиться ее плодами только со своими непосредственными клиентами в обмен на их поддержку патрона. Действенные полиция и суды, бюрократический надзор и реальные демократические процедуры были бы тут досаднейшей помехой. (Главным исключением служат страны Восточной Азии, где в ответ на американские поиски способов понижения производственных издержек началось такое экономическое возрождение, при котором даже коррупция оказалась не особенно вредна, а то и полезна для действенного управления.)

Трезво рассуждая, надо признать, что кризис 1970-х гг. так и не был преодолен. Этот, надеюсь, достаточно узнаваемый набросок основных черт и причинно-следственных связей последних трех десятилетий показывает, что мы по-прежнему живем среди разнообразных последствий того кризиса. В данном случае все еще модная сегодня приставка «пост», похоже, соответствует нашим смутным реалиям. Одна эпоха закончилась, но наступила ли другая? Возникло ли достаточное количество структурных определенностей, чтобы можно было говорить о новой системной конфигурации? Ближайший пример дает наша страна — Россия остается именно постсоветской. Но и даже всем на зависть растущий Китай остается пока постсоциалистическим. Несмотря на активное включение в мировые рынки, еще предстоит увидеть, кому в Китае будет принадлежать собственность и как распределяться блага.

Что тем временем происходит со многими миллионами мировых мигрантов, которые по-прежнему, но теперь еще более массово и куда более отчаянно, устремляются в города? Вернее, в хаотичные трущобные «посады», раз-

растающие в последние десятилетия вокруг и внутри практически всех городов мира, от Парижа до Калькутты, от Москвы до Душанбе. Что и каким образом заместит культурные комплексы, социальные сети взаимной поддержки, структуры жизнеобеспечения, утрачиваемые бывшими крестьянами? От классической социальной теории нам не досталось даже классификационных концепций для понимания этой людской массы, покинувшей село, но не находящей себе места в чуждой для них городской среде. Люмпены, маргиналы, субпролетариат?

Пример более или менее преодоленной де-рурализации стран Запада в XIX в. едва ли предоставляет адекватные аналогии. Тогда Запад господствовал над остальным миром и мог экспортировать избыточное население в колонии. Сегодня куда большая демографическая масса устремляется из бывших колоний в их городские центры и, при всякой возможности, далее в сами метрополии. Нищета имущественная и культурная приобретает глобальный характер и притом явно отмечена расовыми и религиозными признаками. Конечно, мы это видим и нередко чувствуем на личном микроуровне. Но насколько мы сегодня способны внятно рассуждать на такие темы, не впадая в фобии и проповеди? Какие теории дают нам языки описания и аналитические приемы, способные продвинуть понимание проблем?

Что происходит с мировой демографией? Грядет ужас, или все-таки страхи были преувеличены? Что на самом деле творится с экологией? Можно ли что-то поделать с потеплением климата и вообще, как и к чему готовиться? Есть ли возможности для общемировой координации? Или прежде должен грянуть какой-то разрушительный кризис, который может нас попросту убить, но, хотелось бы надеяться, все-таки лишь потрясет различные устои и тем самым создаст политические условия и побудительные мотивы для ответа на мировые вопросы?

Как быть с той же пресловутой глобализацией рынков, о которой столько и в основном триумфально говорилось до недавних пор? Похоже, главным результатом глобализации оказалось не экономическое возрождение Запада после кризиса 1970-х гг., а возвращение Китая на позиции неоспоримо крупнейшей производственной базы мира, чем Китай, судя по недавним открытиям экономических историков, был, по крайней мере, до 1800 г. С одной стороны, это грозит таким усилением конкуренции на мировых рынках, что становится проблематичным устойчивое извлечение высокой прибыли. Отомрут ли корпоративные гиганты Запада? Как будут на это реагировать население и политики ныне богатых стран?

С другой стороны, материальный рост Китая порождает диффузионные эффекты, начинают выбираться из затяжной стагнации другие страны мировой периферии. Появилась ли вдруг надежда на выравнивание мировых уровней доходов и политического влияния? Быть может, нынешней структурно безработной люмпенской массе предстоит найти новые источники существования и включиться в самовоспроизводство? Сколько всего тогда начнет самообустраиваться! Впрочем, кто сказал, что возобновление экономического роста означает политическую стабильность? Опыт инду-

стриализации и урбанизации Запада показывает, что как раз в этот более оптимистичный период и стоит ожидать острой борьбы за право определять политику и распоряжаться общественными ресурсами. Только политику и ресурсы *чего?* Национальных государств, транснациональных олигархических корпораций, или возникнут принципиально новые арены политического взаимодействия?

И не забудем: пока новый виток индустриализации и урбанизации не выйдет на стабильное плато, как быть с экологией? Кто заплатит за экологическую перестройку мировой экономики, если это вообще возможно? А если, упаси боже, прогнозы ломки климата нашей планеты все-таки подтвердятся? Как будут реагировать на, казалось бы, преодоленную и полузабытую угрозу массового голода различные регионы мира, социальные группы, политики и военные? Будет ли кому тогда дело до науки и культуры?

Хотелось бы надеяться, что лет через тридцать я буду жив и перечитаю эти апокалипсические вопросы с неловкой усмешкой. Вот же, бывали пугалки! Но сегодня, в наши смутные времена, я нахожу долю оптимизма в науке. Кое-что мы все-таки знаем.

Рэндалл Коллинз, который видит социальные науки шире и четче большинства из нас, со своим обычным спокойствием утверждает, что мы живем в Золотом веке исторической макросоциологии.² В 1970-е гг. были совершенны прорывы в понимании исторической динамики древних обществ и современного капитализма, институциональных условий и нишево-сетевой природы рынков, неформальных экономик, роста (а также распада) современных государств, возникновения революций, мобилизации общественных движений, источников и динамики демократизации, в понимании национализма и этничности, причин коррупции и организованной преступности, или в объяснении самого научного и художественного творчества. Наступает, по словам Коллинза, этап более массового научного освоения теоретических прорывов предшествующего поколения и синтеза различных исследовательских направлений.

На первый взгляд, откуда такой оптимизм? Со всех сторон слышны жалобы на скуку и измельчание интеллектуальной жизни в конце XX века. Но стоит серьезно прислушаться к словам Рэндалла Коллинза хотя бы потому, что он был одним из немногих ученых, именно теоретически (то есть не политически декларативно и не по-экспертному интуитивно) предвидевших распад СССР. В начале 1980-х гг. это также воспринималось, мягко говоря, с недоумением в профессиональной среде советологов.

Обнадеживает, что оптимизм Коллинза и его призыв к «кумуляции социального знания», добытого различными школами, перекликается с оценками другого важнейшего на сегодня макросоциолога, Джованни Арриги, который также не был замечен ни в полемической запальчивости, ни в опро-

2. Randall Collins, *Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run*. Stanford: Stanford University Press, 1999.

метчивости прогнозов.³ Напротив, Арриги в своем фундаментальном исследовании исторической эволюции центров капитализма «Долгий двадцатый век», написанном в начале 1990-х гг., теоретически предсказал и наступление финансового «вторичного процветания» США, и вероятность попытки силового закрепления американской гегемонии путем создания мировой военной империи. Сегодня Арриги предлагает искать зоны взаимного усиления между различными школами социального анализа современности, прежде всего экономической социологии рынков и миросистемного анализа капитализма, восходящего к Фернану Броделю, а также сравнительно-исторической социологии государств, начало которой положили исследования Теды Скочпол и Чарльза Тилли.

Оценки Коллинза и Арриги относятся к более детальному уровню анализа состояния дел в социальной науке, нежели известная и всеохватывающая эпистемологическая критика Иммануила Валлерстайна.⁴ Тем лучше — из такого взаимодополнения начинает вырисовываться более четкая и многоуровневая картина.

Отдельный исследовательский прорыв связан с уже упоминавшимися именами Чарльза Тилли (который продолжил линию историко-социологического объяснения европейской политики норвежца Стайна Роккана), а также Теды Скочпол (в свою очередь ученицы Баррингтона Мура) и неовеберийцев Джека Голдстоуна и Майкла Манна. Предмет их исследований — формирование современных централизованных бюрократических государств и одновременно общественное сопротивление этому процессу в виде элитных мятежей и народных восстаний, национальных сепаратизмов и фабричных забастовок, оформления массовых партий и социальных революций эпохи Нового Времени. Из такого сложного, исторически изменчивого, неоднозначного взаимодействия двух трендов — формирования бюрократической государственности и общественного сопротивления растущей власти государства — в результате и возникают либеральные демократии Запада.

Наряду с миросистемным анализом капитализма, это наиболее успешное из новых направлений исторической макросоциологии. В обоих случаях были преодолены канонические схемы либерализма и марксизма, исходившие из типичных для XIX века однолинейных эволюционных представлений о непреложных законах истории. Там, где ранее господствовала идеологическая телеология (в виде стадий модернизации или общественных формаций), где историю вершили абстрактные персонажи и реифицированные принципы (классовая борьба, технический прогресс либо идея свободы), теперь исследуются и «картографируются» сложные и изменчивые экологические

3. Giovanni Arrighi, «Globalization and Historical Macrosociology.» Pp. 117–133 in: Janet L. Lughod (ed.) *Sociology for the Twenty-First Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1999. В том же программном сборнике Американской социологической ассоциации под редакцией Джанет Абу-Лугод помещена и более развернутая оценка Рэндалла Коллинза: Randall Collins, «The European Sociological Tradition and Twenty-First-Century World Sociology.» Abu-Lughod, Op. Cit., Pp. 26–42

4. Иммануил Валлерстайн, *Конец знакомого мира*.

ландшафты. Они наполнены социальными сетями, классами и статусными группами (идентичностями), политическими движениями, государственными учреждениями и капиталистическими организациями и не в последнюю очередь конкретными людьми, действующими в насыщенном историческом контексте по своему культурно-обусловленному разумению.

Картина перемен в социальных науках усложняется, но и становится рельефнее, если попробовать прочесть под данным углом зрения теоретиков «дискурсивно-культурного поворота» в социальной науке: Джорджа Стайнмеца, Билла Сьюэлла, Маргарет Соммерс, Эмили Хауптманн, Майкла Даттона, Тимоти Митчелла, Филиппа Мировски.⁵ К тому же ряду относится, скажем, и прекрасный критический разбор теории модернизации, предложенный Нильсом Гилманом.⁶ Культурологическая критика направлена на выявление идеологических основ и дискурсивных практик господствующей парадигмы неоклассической экономики и позитивистского «мейнстрима» политологии. Тут культурологи добились неоспоримых успехов. Сегодня это отдельный фронт интеллектуального сопротивления, чьи позиции весьма прочны на гуманитарном фланге науки.

Вместе с тем на данном направлении противостояние приобрело характер затяжной позиционной войны. Культурологическая критика сильна в обороне своей области знания, но менее эффективна в объяснении материальных структур современного мира. Поэтому экономисты и политологи в большинстве случаев могут попросту игнорировать гуманитарного противника, пользуясь своим подавляющим превосходством институционального контроля над господствующими высотами и главными материальными ресурсами интеллектуального поля.

Вполне возможно, что мостом между историко-социологическими и культурологическими школами может послужить социология Пьера Бурдьё. Этот исключительно влиятельный и энергичный француз двигался своим особым путем и создавал свой собственный научный язык. Притом Бурдьё был известным забиякой и полемистом. Но даже он сам признавал, что его мысли и поиски двигались в том же направлении, что и историческая социология Чарльза Тилли.⁷

Бурдьё сделал очень много для систематического заполнения того места в анализе социальных структур, стратегий социального господства и их соотношения с практиками культуры, которое традиционно занимал марксизм, особенно в его поздней грамшианской версии, и либеральные теории, связанные прежде всего с именем Карла Маннгейма. По сути, Бурдьё создавал политическую экономию культуры — понимаемую вовсе не как набор непреходящих ценностей и шедевров искусства, но как поле конкурентно-

5. См. сборник George Steinmetz (ed.). *The Politics of Method in the Human Sciences: Positivism and its Epistemological Others*. Durham: Duke University Press, 2005.

6. Nils Gilman, *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2003.

7. Pierre Bourdieu and Loïc J. D. Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

конфликтных взаимоотношений по поводу того, что считать ценностями и шедеврами. Школе Бурдые после его неожиданной смерти в 2002 г. предстоит доказать свою способность развиваться без великого основателя и вождя. Но даже если круг его учеников распадется и на какое-то время имя Бурдые окажется непопулярно (прежде всего именно потому, что еще недавно оно казалось таким модным), концепции габитуса, символического капитала и индивидуально-групповых траекторий в социальных полях останутся очень полезным инструментариумом в арсенале новой социальной науки.

В научных дисциплинах, которые более удалены от поля власти и занимают относительно маргинальные позиции в современной академической среде — в социальной антропологии и экономической географии — соответственно оказался и большой зазор для свободы теоретического экспериментирования. Сошлюсь на знаковые работы лишь двух видных ученых. Это теоретический археолог Тимоти Эрл, прямой продолжатель эволюционной политэкономии архаических обществ Маршалла Салинса и Элмана Сервиса. Тимоти Эрл применил очень элегантную версию синтеза концепций Майкла Манна, Пьера Бурдые и миров-экономик Фернана Броделя к объяснению изменчивости структур власти в предгосударственных образованиях (вождествах). При этом брались преднамеренно удаленные друг от друга примеры: древних Инков, вождества Скандинавии и Придунайской равнины эпохи Бронзового века и Гавайских островов накануне контакта с европейцами.⁸ У географов сегодня

один из наиболее влиятельных теоретиков — англичанин Питер Тэйлор, который отслеживает на протяжении последних веков пространственное измерение современности в эволюции рынков, капиталистических городов и государств. При этом политико-экономическая география Питера Тэйлора удивительно органично сопряжена с трансформацией современной культуры — как материально-бытовой, так и «высокого» искусства.⁹

Это уже не единичная удачная попытка сопряжения миросистемного анализа с культурологией. Итальянский филолог Франко Моретти в последние годы очень продуктивно и, надо добавить, провокативно разрабатывал идею картографирования литературы, прежде всего западноевропейского романа. Притом Моретти сосредоточен не на интерпретации единичных высоких достижений, признаваемых литературной классикой, а стремится опи-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КРИТИКА СИЛЬНА В ОБОРОНЕ СВОЕЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ, НО МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНА В ОБЪЯСНЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СТРУКТУР СОВРЕМЕННОГО МИРА

8. Timothy Earle, *How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory*. Stanford: Stanford University Press, 1997.

9. Peter J. Taylor, *The Way the Modern World Works*. Chichester, England: John Wiley & Sons, 1996.

сать целиком хаотически самоорганизующийся эволюционный поток творческого производства.¹⁰ Выходившие в последние годы одна за другой книги и статьи Моретти произвели фурор в литературоведческой среде, где, несмотря на постмодернистский скептицизм, на самом деле остаются весьма сильны жанровые традиции и механизмы профессионального контроля внутри гильдии посредством сохранения определенного канона и представлений о подобающем стиле. Впрочем, темпераментный Моретти (к тому же защищенный званием профессора Стэнфордского университета), похоже, с удовольствием использует фурор для продвижения своих новаций.

Наконец, очень важно, что мощные и принципиально аналогичные подвиги проявились в естественно-исторических науках. Об этом замечательно писали гарвардский профессор эволюционной биологии и при этом в последние двадцать пять лет, несомненно, самый знаменитый популяризатор науки Стивен Джей Гулд и также не чуравшийся популяризации лауреат Нобелевской премии по химии бельгиец Илья Пригожин (кстати, оба великих ученых, для интересующихся, происходили из семей еврейских эмигрантов из Российской империи).¹¹

Так в чем же состоит сдвиг парадигмы? Одной фразой можно сказать, что идет переосвоение интеллектуального пространства и тематики, ранее занятых историческим материализмом. Политическое вымирание марксизма-ленинизма в 1970–1980-е гг. произвело колоссальный освободительный эффект. Появилась возможность для экспериментирования и дальнейшего продвижения там, где прежде господствовала ортодоксия, подкрепленная не только собственной политической организацией и идейным надзором, но и куда сильнее бинарной оппозицией Холодной войны. Как любил повторять Пьер Бурдьё, самая мощная ортодоксия не выступает в одиночку, а является нам в виде антиномии, как пара якобы взаимоисключающих положений. Интеллектуальные критики, инакомыслящие и экспериментаторы автоматически воспринимались как отступники и перебежчики, место которым в противоположном лагере. Одновременное преодоление *обеих* ортодоксий было настолько же трудным, насколько и необходимым условием для развития науки об обществе.

В интеллектуальном поле Холодная война началась не после 1945 г. и не в 1917 г., а сразу после европейских революций 1848 г., когда в ответ на вызов слева формируется либерально-консервативный канон социальной науки. Наиболее отчетливо это видно на примере неоклассической экономики, поскольку в современном западном обществе это одновременно наиболее идеоло-

10. Чего стоят заголовки последних книг Франко Моретти! См. Franco Moretti, *Modern epic: the world-system from Goethe to García Márquez* (Современный эпос: миросистема от Гёте до Гарсиа Маркеса). London: Verso, 1996; Ibidem, *Atlas of the European novel, 1800–1900* (Атлас европейского романа). London: Verso, 1998. Ibidem, *Graphs, maps, trees: abstract models for a literary history*. (Графики, карты, генеалогические древа: абстрактные модели для литературной истории). London: Verso, 2005.

11. Stephen Jay Gould, *Full House: The Spread of Excellence from Plato to Darwin*. New York: Three Rivers Press, 1996. Iliya Prigogine in Collaboration with Isabelle Stengers. *The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature*. New York: Free Press, 1997.

гически востребованная и наиболее прикладная из дисциплин.¹² Для коммунистических партий и государств аналогичную роль играла философия, достигшая положения мета-дисциплины и вобравшая в себя едва ли не целиком все знание об обществе. Противостояние мощно подкреплялось организационными и материальными ресурсами соответствующих политических движений и государств, полемика генерировала заряды эмоциональной энергии, и интеллектуальное производство двигалось в течение нескольких поколений с впечатляющими успехами в накоплении эмпирических знаний, теорий и исследовательских методологий — наряду с колоссальным численным ростом научных сообществ по обе стороны политического раздела. Развитие массового университетского образования в течение всего периода с середины XIX в., особенно в 1950–1960-е гг., создало беспрецедентную организационную базу для профессиональной научной деятельности. В самом деле, сегодня есть что вспоминать с ностальгией — хотя при этом хорошо бы не затуманивать взор.

Социальная наука и на Западе, и в соцлагере в начале 1960-х гг. одновременно столкнулась с внутренним сопротивлением, переходящим в восстание. Восстание было направлено против ортодоксального канона, который оформился с обеих сторон в основном в 1930–1950-е гг. Двигателем протеста выступало тогда молодое и численно беспрецедентно большое поколение молодых мужчин (а также молодых женщин, технических специалистов и интеллигентов из числа нацменьшинств, провинциалов), которые, наряду с обретением высшего образования, испытали в период взросления мощное социальное продвижение и соответственно приобрели заряд оптимизма. Новые образованные слои стремились сломать барьеры, традиционно удерживавшие статусно «младших» в подчинении статусно «старшим», и привести структуры политической власти и культурные нормы в соответствие со своим возросшим весом в общественном воспроизводстве.¹³ В самых общих чертах, оставив пока конкретные сюжеты, мы находим здесь объяснение общемирового феномена «шестидесятничества».

Демографическое и культурное давление «младших» привело к скачкообразному росту всевозможных неконформистских проявлений: в моделях личного поведения и массовой моде, в сексуальных предпочтениях и в семейном быту, в искусстве, в сфере религиозной догматики и ритуала (отсюда как и размытый «новый спиритуализм», так и воинственно антиструктурный фундаментализм), наконец, в интенсификации рыночного и политического предпринимательства где-то с конца семидесятых годов. Обычное отождест-

12. Вот лишь некоторые из наиболее ярких исследований экономики как профессионального поля: Philip Mirowski, *More heat than light: economics as social physics, physics as nature's economics*. New York: Cambridge University Press, 1990. Yuval P. Yonay, *The struggle over the soul of economics: institutionalist and neoclassical economists in America between the wars*. Princeton: Princeton University Press, 1998. John Markoff & Varynica Montecinos, «The ubiquitous rise of economists», *International Public Policy*, Vol. 13, no. 1 (1993), pp. 37–68.

13. См., к примеру, написанную в 1992 г. статью Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins, and Immanuel Wallerstein. «1989: The Continuation of 1968.» Pp. 35–51 in George Katsiaficas (ed.) *After the Fall: 1989 and the Future of Freedom*. New York: Routledge, 2001.

вление нонконформизма шестидесятых с движением Новых Левых упускает из виду, что к той же волне или ее вторичным накатам принадлежат и неоконсерваторы, и неонационалисты (в России выступающие преимущественно в жанре богемно-поэтизированной геополитики и конфликтологии), и фундаменталисты различных религий, и рыночные младореформаторы всех стран. Так или иначе, все это было формами вызова истеблишменту и начальственной опеке, предписывавшим вести себя «в рамках». Отсюда и ошеломляющая легкость, с которой многие из бывших Новых Левых превращались в Новых Правых, в националистов, в венчурных капиталистов и т. д.

В поле социальной науки нонконформизм младшего поколения вылился, прежде всего, в критику ортодоксальных интерпретаций путем возврата к изначальным идеям основателей. Отсюда разнообразные движения с приставкой «нео»: более всего, конечно, неомарксизм, противостоявший догматизму компартий, но также неовеберизм, отвергавшее техницистскую интерпретацию Талкотта Парсонса, или неолиберализм в экономике, направленный против гегемонии кейнсианства. (Отметим, что полного возврата на деле не произошло и, учитывая сильно изменившиеся реалии, не могло произойти — как неомарксисты не упоминали о диктатуре пролетариата, предпочитая гуманистические наброски молодого Маркса или Грамши, так и неолибералы предпочитали умалчивать об идеале золотого стандарта, который бы лишил современные правительства Запада важнейшего механизма социальной регуляции.)

Знаковые фигуры возрожденческих движений порой принадлежали к старшему поколению — Дьёрдь Лукач для нео-марксистов шестидесятых или Фридрих фон Хаек и Милтон Фридман для рыночных нео-либералов семидесятых. Но знаковыми этих уже почтенных профессоров, надолго изолированных в период ортодоксии, сделали именно их молодые и энергичные читатели. В том же русле возникает «крестьяноведение», лидерами которого выступили Джеймс Скотт и Теодор Шанин, который заново ввел в научный оборот дотоле экзотичные идеи Чайнова и политэкономии русского народничества, а также сравнительно-филологическое движение на Западе, чье вдохновение питалось от других полузабытых русских авторов: фольклористов Михаила Бахтина и Владимира Проппа, «формалистов» Юрия Тынянова и Виктора Шкловского и историко-структурного лингвиста Романа Якобсона (в конце своей жизни оказавшегося в Гарварде, где он также сыграл роль знаковой фигуры возрождения).

К началу восьмидесятых годов возрождение с приставкой «нео» начинает исчерпываться. На смену ему приходят движения уже не возрождения, а отхода от традиции и ее критики. Многие тогда обзавелись приставкой «пост»: постструктурализм, постгуманизм, постреализм, постфеминизм, постмарксизм, франко-английская школа постфордизма в политэкономии и, конечно же, самый популярный из «постов» восьмидесятых — постмодернизм.

Критический вектор «пост» движений был направлен против фундаментальных положений и самих способов построения классической теории. Достигалось это в основном методом «деконструкции», направлен-

ным на выявление скрытых, предрациональных и обычно неосознаваемых предпочтений и презумпций так называемых классиков и их последователей. Главным результатом стала критическая атака на всю парадигму социальной науки XIX века и особенно на сциентизм, достигший пика в 1950-е гг. Гуманистическая критика на самом деле, конечно, служила предупреждением современникам. Предупреждение было важным, но его ничто не отделяло от полнейшего сомнения в обобщающей теории. Вслед за первыми раскатистыми залпами, «постам» оказалось трудно двинуться в каком-либо направлении. Возникла заминка, если не тупик, что сегодня во многом (не во всем, но все-таки очень во многом) характеризует ситуацию, особенно в гуманитарно-философских областях.

Наиболее отчетливо признаки спада интеллектуальной активности проявились за пределами США. В шестидесятых-семидесятых годах европейские интеллигенции предприняли славную и очень впечатляющую контратаку на послевоенную гегемонию англо-американского сциентизма. Но затем наступает спад активности, и Европа едва ли не пуще прежнего провинциализуется по отношению к США. Помимо общей теории происходили изменения и в каких-то других условиях творчества, которые я здесь не рискну определять. Однако спад и провинциализация явно наблюдались также в художественных полях, в частности, в европейском кино.

Явно не в одной материальной базе тут дело. Бедность осложняет творческие занятия и привносит в них горечь. И все-таки сама по себе бедность не может воспрепятствовать интеллектуальным занятиям, даже таким относительно капиталоемким, как кино, журналистика или, в другой области, теоретическая физика и химия. В 1980-е и особенно в 1990-е гг. что-то случилось с самим интеллектуальным тоном, куда-то подевалась эмоциональная энергетика.

Еще раз оговорюсь. Всегда есть опасность пережать в обобщениях и упустить из виду важные контрпримеры. Говорить о полном спаде только в социальных науках и в культурном поле было бы и огульно, и аналитически ошибочно. Однако представляется, что общие тенденции именно таковы.

В Латинской Америке перепад был еще драматичнее. Если где-то в районе 1970 г. этот прежде удаленный континент оказался представлен именами мирового значения практически во всех областях, от социологии до музыки и литературы (возможно, следует добавить сюда и футбол), то ничего подобного уже нельзя было сказать в 1990 г. или 2000 г. От былого сочетания колоритной местной самобытности с виртуозностью мирового класса остались ностальгические воспоминания, хотя и воспоминания о былом успехе могут послужить культурным капиталом на другом витке истории. Господствующие позиции в интеллектуальных полях стран Латинской Америки, особенно в университетах, перешли к подражателям ортодоксальных англо-американских образцов (факультеты экономики дают, конечно, самый разительный пример), в то время как наиболее известные и оригинальные латиноамериканские интеллектуалы сами мигрировали в США и Канаду.

То же самое произошло и с Африкой, где наибольшие успехи были связаны с шестидесятнической литературой (вспомним хотя бы Чинуа Ачебе) и социальной критикой (Махмуд Мамдани). Теперь африканская (как и арабская) общественная мысль практически целиком оказалась в диаспоре, вернее в европейских столицах и американских университетских кампусах. С соответствующими поправками нечто подобное можно не без горечи сказать и о нашем уголке мира — Восточной Европе.

Свято место большой теории оставаться пусто не могло уже хотя бы потому, что в англо-американской науке (в континентальной Европе конкурентность несколько ниже) индивидуальные научные карьеры напрямую связаны с количеством и престижным рейтингом публикаций. Надо постоянно придумывать темы диссертаций, конференций, монографий. Но как? В новых формулировках началось восстановление сциентистских подходов и сюжетов из предкризисного периода. Скажем, неоинституционализм фактически возродил программу структурного функционализма, теории рационального выбора восприняли наиболее сциентистские и схоластические аспекты системных амбиций школы Талкотта Парсонса (но без указания на источник и далеко без прежнего парсонсианского охвата). Другой крайне распространенной стратегией, типичной для периодов спада, оказалось перетолковывание признанных теорий на новом относительно материале и общее измельчение тематики. Отметим, однако, что полного возврата к ситуации 1950-х гг. не произошло. Гуманитарно-текстологические дисциплины и более «социальные» из социальных наук (антропология, социология и история) закрепились на рубежах, достигнутых ими в семидесятые годы или в начале восьмидесятых. На тех позициях в целом они и остаются сегодня.

Наряду с внутренними для социальной науки проблемами, в 1980-е гг. мощно проявились две новые тенденции. Во-первых, общемировое вымирание политических альтернатив, марксизма в первую очередь, но также и более оптимистичных вариантов национализма (антиколониализм Третьего мира, европейские патриотизмы) резко сузило пространство для неконформистских проявлений и восстановило господство одной из сохранившихся ортодоксий. Это было провозглашено концом идеологической истории. Неконформизм всевозможных видов не столько подавлялся, сколько стал казаться устаревшим и ненужным, поскольку за пределами академической среды исчезли соответствующие референтные аудитории, протестные политические настроения и движения. Соответственно, вплоть до отрицательных величин понизился заряд эмоциональной энергии в общественной сфере, откуда подпитывалась публицистика, но также большинство видов искусства и социальная наука. Катастрофически резкий перепад настроений и интеллектуального производства в Восточной Европе после пика 1989 г. — лишь крайний пример.

Во-вторых, общемировое давление в сторону сокращения государственного финансирования (хотя в различной степени в разных странах) побуждает университеты и исследовательские институты искать способы самофинансирования. Развивается коммерческое образование, рыночно-применимая

наука (информатика, биотехнология), и та прикладная отрасль социальной работы, которая в новый период превращается в «надомную индустрию» неправительственных организаций. Самым мощным примером самофинансирования науки и образования стал рост и преобладание школ бизнеса. Элементарная статистика: только номинальные зарплаты в американских школах бизнеса вдвое или втрое выше зарплат на гуманитарных факультетах, не говоря о высокодоходных консалтинговых возможностях. Все, что может себя выдать за полезное для бизнеса знание, начинает мимикрировать в этом направлении — от прикладной психологии и социологии рынков и потребительского вкуса до деловой этики и офисной эстетики.

Дифферент в доходах, однако, сам по себе не дает удовлетворительного объяснения. Куда важнее, что резко изменился общественный климат. Точнее, при сужении и утилитаризации общественных представлений о полезности науки, культурных навыков и абстрактного знания оказались обесценены типичные для прежних поколений интеллигенции формы символического капитала. В новых условиях стало очень трудно чувствовать и (употребляя гоффмановский жаргонизм) социально репрезентировать себя бедным, но при этом благородным, либо полезным для человечества, либо изобретательным в поведении и самовыражении, либо романтическим и виртуозно культурным. Притом, следуя общей тенденции, сами предметы и практики высокой культуры (книги или опера) стали требовать куда больших затрат.

Довольно причитаний. Давайте лучше проведем мысленный эксперимент. А как бы выглядела та самая, Томасом Куном описанная, коперниковская революция в объяснении мироздания из середины периода, который историки зовут кризисом XVII столетия, из года эдак 1650 или 1660-го? Сам Николай Коперник к тому времени благополучно упокоился в своем костеле, не оставив учеников, Галилей поплатился за дерзкие публикации, и тогда еще мальчишка Ньютон не знал, что Кеплер оставил ему в наследство законы движения небесных тел, которые сам Кеплер не смог теоретизировать. Конечно, это имена тех, кого много позднее провозгласят плеядой титанов научной революции Нового Времени. Только титаны при жизни не были плеядой. Они жили выдающимися одиночками в мире, где господствовали средневековые представления, которым и сами они отдавали должное: Кеплер зарабатывал на жизнь астрологией, Ньютон большей частью искал философский камень.

Астрология дает нам, быть может, очень полезный пример. Напомню, это была удивительно мощная дисциплина, за которой стояли классические авторитеты древности, масса добротных эмпирических данных, накопленных за долгие века, а также стройная логика и математический аппарат. Это было подлинно транснациональное интеллектуальное поле, центры которого располагались на межцивилизационном пространстве от Японии до Самарканда и от Индии до Парижа. Более того, центры взаимодействовали между собой посредством переводных публикаций. Это была дисциплина с мощной теоретической базой и регулярным престижным применением

в политической практике. Едва ли не во всех дворцах и правительствах прислушивались к экспертному мнению звездочетов. Чем не параллель с современной экономической наукой?

Да, в основе прежнего экспертного знания лежало ныне сомнительное (но даже сегодня не для всех) допущение, что наблюдаемое и теоретически предсказуемое движение небесных тел обладает причинно-следственным воздействием на политические и личные выборы людей. В основу неоклассической экономики также заложены аксиомы о том, что сельская ярмарка может служить прообразом капиталистической экономики, что все в этом мире стремится к равновесию, а человеческое поведение следует неизменным абстрактным моделям и сродни поведению атомов.

Если отвлечься от титанического статуса, позднее приобретенного Коперником, его даже не открытие, а предположение было удивительно просто — если сменить перспективу, то многое в наблюдаемой системе встанет на свои места. Собственно к этому и сводятся теоретические прорывы 1970-х гг. в социальной науке, будь то миросистемный анализ Валлерстайна, сравнительно-историческая политология Тилли или социология культуры Бурдьё. Сопrotивление также совершенно предсказуемое. Во-первых, действует коллективный интерес первой гильдии интеллектуальных специалистов, астрологов в одну эпоху или экономистов в другую. Куда серьезнее, что научный переворот неизбежно подрывает легитимацию существующей власти. Галилея преследовали далеко не мракобесы.¹⁴ Его осудили при папе Урбане VIII, одном из самых просвещенных глав Римской церкви. Несмотря на личную дружбу и покровительство, тот прекрасно видел, насколько Галилей его «подставил» (современное выражение тут уместно, поскольку коллизия совершенно аналогична отношениям советских диссидентских интеллектуалов с просвещенным крылом высшей номенклатуры). Предположить посреди Контр-реформации, что небосвод не строится по канонической иерархии?! Что дальше, множественность центров власти вместо Божественной Империи? Возможность рационального переустройства мира? Политический анализ Урбана VIII был безупречен, если и оказался тщетным. Конечно, все именно так и вышло в истории.

Сегодня мы живем в свою эпоху контр-реформации и исторического кризиса. Коперниковский сдвиг перспективы произошел уже почти поколение назад, и не единожды. Как часто бывает в науке, прорывы были параллельно совершены несколькими учеными. После прорывов идет накопление знания и попытки соединения самих прорывов. Но пока не родился или не проявился Ньютон нашего времени, и тем более, пока далеко до момента, когда новое знание превратится в азбучные истины. Сдвиг в научной парадигме происходит, как и в XVI–XVII в., на фоне кризиса исторической системы. Так что — за работу, товарищи!

14. Dava Sobel, *Galileo's Daughter: A Historical Memoir of Science, Faith, and Love*. New York: Walker & Co., 1999.